

ГЕНРИХ

# БЁЛЛЬ



Глазами клоуна



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Генрих Бёлль  
**Глазами клоуна**

«АСТ»

1963

УДК 821.112.2-3  
ББК 84(4Гем)-44

## **Бёлль Г.**

Глазами клоуна / Г. Бёлль — «АСТ», 1963 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-100596-2

«Я клоун и собираю мгновения», – говорит о себе Ганс Шнир, нищий артист, «свой среди чужих, чужой среди своих», блудный сын богатого общества крупных буржуа, герой одной из лучших, самых пронзительных и горьких европейских книг XX века. Действие впервые опубликованного в 1963 году романа Бёлля, который критики называли «немецким «Над пропастью во ржи», происходит в течение всего лишь одного дня жизни Ганса, но этот день, в котором события настоящего перемешаны с воспоминаниями о прошлом, подводит итоги не только жизни самого печального клоуна, но и судьбы всей Германии, – на первый взгляд счастливой и процветающей, а в действительности – глубоко переживающей драму причастности к побежденному, но еще не забытому «обыкновенному фашизму»...

УДК 821.112.2-3  
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-100596-2

© Бёлль Г., 1963  
© АСТ, 1963

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

34

# Генрих Бёлль

## Глазами клоуна

*Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.*

*Посвящается Аннемари*

Heinrich Böll

ANSICHTEN EINES CLOWNS

Originally published in the German language as «Ansichten eines Clowns» by Heinrich Böll

Перевод с немецкого *Р. Райт-Ковалевой*

Печатается с разрешения издательства Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

### I

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам – на перрон, вверх – с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску – купить вечерние газеты, выйти на улицу, подождать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила – видимо, ее и зовут судьбой – всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я – клоун, официальное наименование моей профессии – комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает – отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты – какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка –

и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правочерные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней – меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo»<sup>1</sup> или акафист Деве Марии – мои любимые лекарства – почти не помогают. Есть временное лекарство – алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, – Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик – упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится вытаскивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок – в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка – простая водка, вместо варьете – какие-то сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву – не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если Бог даст, и окончу свои дни, – пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытие и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подно-

<sup>1</sup> «Tantum Ergo [sacramentum] ...» – «Эту Тайну Пресвятую...» (лат.)

сике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

– Говорит Костерт, – сказал он ледяным голосом холоуя, – надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

– Пожалуйста, – сказал я, – разве вам что-нибудь мешает?

– Вот как! – сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

– Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести... – Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой – обыкновенным хамом. – Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

– Вы меня слушаете?

Я сказал:

– Да, слушаю. – И опять подождал.

Молчание – отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня – для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

– Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

– Слушайте меня внимательно, господин Костерт, – сказал я. – Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

– Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

– Хорошо, – сказал я, – тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

– А вы не можете захватить вещи в такси?

– Нет, – сказал я. – Я расшибся и ничего не могу поднимать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

– Господин Шнир, – сказал он мягко. – Простите, что я...

– Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю – он непременно позвонит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что, кроме меланхолии и мигреней, я обладаю еще одним, почти мистическим свойством – чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода – канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти

сяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, – моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться – на ты или на вы, и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не понимал Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

– Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

– Оставьте меня в покое! – крикнул я. – Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси – всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.

– Все в порядке? – крикнул он за дверью.

– Да, – сказал я, – убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

– Но позвольте... – начал было он, и я заорал:

– Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети брэнного мира не только умнее, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, – за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступить не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра сердечный привет Ганс».

## II

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подозвать такси – я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу – две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру.

Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подниматься вверх, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь – перекрытие – и снова в слегка сдвинутой перспективе – спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый – только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание – это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, – это Мари, и с тех пор как она от меня ушла, я живу как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и – конечно, не без задней мысли – обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «...и молим Тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к теме вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зараба-

тывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда, кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живетя неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока наконец даже прелат – духовный наставник этого кружка – Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

### III

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире – тепло, чисто, и когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами – зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху – во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моника – слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется, «Тайга».

Я прикурил сигарету Моника от Моникаиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибойя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моника. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на большое колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспом-

нил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати – пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать – пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему, ванна – вовсе не роскошь, а когда едешь с пятью чемоданами, то и такси не транжирство. Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, – это велосипед, но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

#### IV

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию – Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война, – прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходящем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной – маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.

Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь – алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему – я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит.

Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, – говорил Брюль, – кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии, и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденский суп, на второе – картофель с соусом, а на третье – яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

– Что за чепуха, какой там пикник! Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срежай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока – все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

– Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

– Наша священная немецкая земля, – сказала она, – они уже в самом сердце Эйфеля.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакошенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и несколько «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев – те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стекло на ночном столике. Генриетта в синей шляпке с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузеном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю»; села, леса, замки – все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки», – это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

– Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

– Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

– Ну как же, – сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчишек спросил, как звали этого героя, я сказал: – Рюбецаль.

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

– Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинись, только Лео соблюдал нейтралитет – ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

– Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово – кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу столовую. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

– Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить – ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель орггруппенляйтнера Левених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

– Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

– Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

– Но тебе его никто не говорил? – спросил он. – Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

– Нет, – сказал я.

– Мальчик даже не понимает, что говорит, – сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

– Он сам не знает что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

– Ну и отрекайся, – сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол.

Я слышал раскаты артиллерии на Эйфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции – собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснуш-

чатый мальчуган по имени Георг – он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

– К счастью, Георг был сиротой!

## V

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба – мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращаюсь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебойль, Блотерт, Зоммервилльд; а между этими двумя столбцами – имя Монике Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо – и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямо-таки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колени, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал оттого, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон – я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет – это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная – какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно

быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты – никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала – пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» – и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы мы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадает ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона – вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р гк., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

– Квартира доктора Шнира.

– Можно попросить госпожу Шнир?

– Кто у телефона?

– Шнир, – сказал я, – Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно – мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.

– Могу ли я быть уверена, что это не шутка? – спросила она наконец.

– Да, вы можете быть вполне уверены, – сказал я, – а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка...

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» – и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный – для шахт, черный – для биржи и белый – для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный – для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый – для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

– Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

– Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

– Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

– Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», – и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер – писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и когда Генриетта впадала в забытие, он всегда говорил о «мистическом даре», но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленаха» или какую-нибудь французскую фразу: «La condition du Monsieur le Comte est parfaite»<sup>2</sup>. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

– А как папа?

– О-о, – сказала она, – он постарел... постарел и стал мудрее.

– А Лео?

– О, Лэ, он очень прилежен, очень, – сказала она, – ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

– О Господи, – сказал я, – только подумать, Лео – будущий богослов!

– Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество, – сказала моя мать, – но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов – «Любовь французов», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой – пленный французский лейтенант – был блондин, а героиня – немецкая девушка с Мозеля – брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», – кажется, это случалось раза два, – но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Герреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопrotивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение – меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я

<sup>2</sup> Граф чувствует себя превосходно (фр.).

стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер... – голос у него по-настоящему дрогнул, – наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

– А что делает сейчас Шницлер? – спросил я мою мать.

– О, у него все отлично, – сказала она, – в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.

Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей что-то еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.

– А дедушка как? – спросил я.

– Изумительно, – сказала она, – он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.

– А это очень просто, – сказал я, – таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?

– Нет, – сказала она, – он на полтора месяца уехал на Искью.

Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:

– Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.

– Ах так? – сказал я. – И ты, наверно, испугалась, что я стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.

Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но, в общем, от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, она-то, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.

## VI

Я положил себе под спину кучу подушек, задрал большую ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?

Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно зло-радно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео – Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы – осталось-то всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет – это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит и мой «диапазон» определяет с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний – а в этом мире все друг другу посторонние – склонен преувеличивать и плохое и хорошее

больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых зальцах перед домохозяйками-католичками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок – вполне приличная сумма, и если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братец-не-сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоил раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и когда я пригласил его поужинать – нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог, – ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как я познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.

Как будет, так будет, впереди все равно канава. У Мари в голове совсем другое – она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой по-своему верующий, такой чистый, ну и так далее. Ужас что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы как-то не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.

Кто-нибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались, – напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услышать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться по-своему – и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вожделением».

## VII

Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мутило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь город знал Цюпфнера главным образом из-за его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Кто-то даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель

и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофею.

Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону – законный срок и то слишком долог. Никогда я не жаловался на школу из-за учителей, а только из-за моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» обязан заняться Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшеклассники и младшие, учителя, инспектора, люди с высшим образованием и без оногo – сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:

– Может, кто-нибудь хочет высказаться?

И я сразу вскочил и сказал:

– По-моему, стихи чудесные!

Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:

– Хочешь поиграть с нами?

И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:

– Хочешь пойти с нами?

Я спросил:

– Куда?

И он сказал:

– На вечер нашего кружка.

А я сказал:

– Но ведь я вовсе не католик.

И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:

– Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?

– Люблю, – сказал я, – но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.

И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:

– Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.

Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки», показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является

необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:

– Клоуном.

Он сказал:

– Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.

– Нет, – сказал я, – не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.

– То есть как же ты себе это представляешь? – спросил он.

– Никак, – сказал я, – никак. Я просто уйду от вас...

Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер – хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово – «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставала особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс – художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигары, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.

Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожеления». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря,

которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверное, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.

В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденаугассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:

– Алло, кто там?

– Это я! – крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.

Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться – на вы или на ты. На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные волосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.

– Уходи, – сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и когда она сказала «уйди», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, – и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.

– Нет, нет, – сказал я, – я не уйду, куда же мне идти?

Она покачала головой.

– Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?

– Нет, – сказала она, – не ездь в Кёльн!

Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят, – между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо, а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался – до того это у нее вышло по-уличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно много. Она сказала, что думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь, – все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:

– Чего это ты делаешь?

А она сказала:

– Хочу быть красивой.

Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре – она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:

– Может быть, тебе все-таки лучше уйти?

Но я сказал:

– Нет.

Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял: хватит ли нам двух часов? Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу, они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида, и я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих нибелунгов из-за этого дела и как в школе, когда мы проходили «Нибелунгов», я встал и сказал патеру Вунибальду: «Собственно говоря, ведь Брюнхильда и была женой Зигфрида», а он усмехнулся и сказал: «Но женат он был на Кримхильде, мой мальчик», а я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю «поповским», и патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает «такие оскорбления».

Я встал и сказал Мари:

– Ну чего ты плачешь?

И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу: был январь, улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой: «Эмиль Шмиц». Я знал Шмица, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет.

Когда ее отец вернулся, мы еще не спали, было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что перед тем как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали: наверное, он что-нибудь заметит, все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил, только минуту прислушивался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел из церкви и вечно ругал при мне «лживую мораль буржуазного общества в вопросах пола» и ненавидел «жульнический обман, который попы называют браком». Но я не был уверен, что он не поднимет скандала, узнав, что мы с Мари наделали. Я его очень любил, и он меня тоже, и у меня было искушение встать вот так, среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый, мне двадцать один год, и Мари тоже достаточно взрослая, ей девятнадцать, и что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчания, а кроме того, я понял: его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я раньше думал. Не мог же я на самом деле пойти к нему заранее, среди бела дня и заявить: «Господин Деркум, сегодня я проведу ночь у вашей дочери», а о том, что случилось, он все равно узнает.

Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте.

– Я пойду в ванную, а ты умойся тут. – И она потянула меня за руку с кровати и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз и вышла.

Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, отчего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков, радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, а потом испугался: вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подроб-

ности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел, но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, он свирепел и говорил: «Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы или умрет за дело, в которое верит». До сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле, но когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его «гениальным сектантом», я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый, выглядел много старше своих лет и от постоянного курения дышал тяжело. Все время, пока я ждал Мари, я слышал кашель из его спальни и казался себе подлецом, хотя знал, что я вовсе не подлец. Один раз он мне сказал: «А ты знаешь, почему в барских домах, вроде твоего родительского дома, горничным всегда дают комнату рядом с комнатой подрастающих мальчиков? Я тебе объясню почему: это древний, как мир, расчет на голос природы и сострадание». Мне очень хотелось, чтобы он вошел в комнату и застал меня в постели Мари, но идти к нему и, так сказать, «докладываться» у меня охоты не было.

Уже начинало светать. Мне было холодно. Удручала бедность комнаты Мари. Все давно считали, что Деркумы впали в бедность, и приписывали это политическому фанатизму отца Мари. У них когда-то была маленькая типография, небольшое издательство, книжная лавка, а теперь осталась только лавчонка письменных принадлежностей, где школьники могли купить и разные лакомства. Мой отец как-то сказал мне: «Видишь, как далеко может завести человека фанатизм, а ведь у Деркума после войны, как у человека, подвергавшегося политическим преследованиям, были все шансы стать владельцем газеты». Как ни странно, но мне Деркум никогда не казался фанатиком, впрочем, мой отец, вероятно, путал фанатизм с последовательностью. Отец Мари даже молитвенников не продавал, хотя это дало бы ему возможность подработать, особенно перед праздниками.

В комнате у Мари стало уже светло, и тут я увидел, до чего они действительно бедные: в шкафу у нее висело всего три платья – темно-зеленое, в котором, как мне казалось, я видел ее уже лет сто, желтенькое, совсем поношенное, и тот чудесный темно-синий костюм, в котором она всегда ходила на процессии, потом старое, бутылочного цвета зимнее пальто и всего три пары обуви. На миг у меня появилось искушение открыть комод и посмотреть, какое у нее белье, но потом я передумал. По-моему, даже если бы я жил в самом законном браке с какой-нибудь женщиной, я бы все равно никогда не рылся в ее белье. Отец Мари давно перестал кашлять. Был седьмой час, когда Мари наконец вышла из ванной. Я был рад, что у нас с ней было то, чего я всегда хотел, я поцеловал ее и был счастлив, когда она мне улыбнулась. Я почувствовал ее руки у себя на шее – они были совсем ледяные.

Я притянул ее к себе, укрыл и засунул ее ледяные руки себе под мышку, и Мари сказала, что им там так хорошо лежать, как птицам в гнезде.

– А горячей воды у тебя не было? – спросил я.

И она сказала:

– Нет, котел давным-давно не работает. – И вдруг совершенно неожиданно она заплакала, и я спросил, почему она теперь вдруг плачет, и она прошептала: – Господи, ведь я же католичка, ты отлично знаешь...

Но я сказал, что любая девушка, евангелистка или атеистка, тоже, наверно, плакала бы, и я даже знаю почему. Мари посмотрела на меня вопросительно, и я сказал:

– Потому что невинность на самом деле существует.

Она все плакала, и я не спрашивал почему. Я все понимал: вот уже два года, как она ведет эту группу девушек, всегда ходит с ними в процессиях, наверно, они все время говорят про Деву Марию, и вот теперь она кажется себе предательницей или обманщицей.

Я хорошо представлял себе, как все это для нее ужасно. Наверно, это было действительно ужасно, но больше ждать я не мог. Я сказал, что сам поговорю с ее девчонками, и она испуганно отшатнулась и сказала:

– Что? С кем?

– С девчонками из твоей группы, – сказал я. – Действительно нехорошо для тебя вышло, но, если уж тебе будет очень невмоготу, можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал.

Она рассмеялась и сказала:

– Нет, это глупости, и потом, что ты можешь сказать девчонкам?

И я сказал:

– Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают: так вот он какой, этот Шнир, который сделал с Мари «то самое» – и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по уголкам.

Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо:

– А ты не такой глупый! – Потом вдруг расплакалась и сказала: – Мне теперь тут и показываться нельзя.

И я спросил:

– Почему?

Но она только плакала и мотала головой.

Ее руки совсем согрелись у меня под мышкой, и чем теплее становились ее руки, тем больше меня одолевал сон. Вскоре ее руки стали согревать меня, и когда она опять спросила, люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой, я сказал, что это совершенно ясно, но она сказала, что еще раз хочет выслушать даже то, что ясно, и я сонно пробормотал:

– Да, да, ты красивая, я тебя люблю.

Проснулся я, когда Мари встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одета. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше, бывало, останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло, но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал: «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами, а так живет большинство людей». – «А быть богатым?» – спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал: «Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у меня еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы?» – «Нет, не знаю», – сказал я. «Я бы, – сказал он и опять покраснел, – я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей. Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков».

Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мари одевается. Я и радовался, и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в постели и смотреть, как она моется и одевается, и если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну.

В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы, мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а чистить зубы для меня до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари, она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал

и о моем брате Лео, он был такой набожный, добросовестный, точный и всегда говорил, что «верит» в меня. Он тоже сдавал на аттестат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать, а я в двадцать один год еще сижу в предпоследнем классе и злюсь из-за ложных толкований сказания о нибелунгах. Лео даже был знаком с Мари, они встречались в каком-то кружке, где католическая и евангелическая молодежь обсуждала вопросы демократии и религиозной терпимости. Мы оба, и я и Лео, уже давно считали наших родителей кем-то вроде заведующих молодежным общежитием. Для Лео было ужасным ударом, когда он узнал, что у отца вот уже десять лет есть любовница. Для меня это тоже было ударом, но не в моральном отношении, я отлично представлял себе, как неприятно быть женатым на моей матери, чья обманчивая мягкость проявлялась даже в манере выговаривать «и» и «э». Она редко произносила фразы, где попадалось бы грубое «а», «о» или «у», и, что характерно, она даже имя брата, Лео, сократила в «Лэ». Любимая ее фраза: «Мы, видно, иначе расцениваем вещи», и вторая любимая фраза: «В принципе мне это виднее, тем не менее следует взвесить». Для меня тот факт, что у отца есть любовница, был главным образом шоком эстетическим: к нему это так не шло. Он человек не страстный, не жизнерадостный, и если не считать, что она для него могла быть чем-то вроде сиделки или духовной наставницы (но тогда пышное выражение «любовница» совершенно неуместно), то главная нелепость заключалась именно в том, что к отцу все это никак не шло. На самом деле это была маленькая, хорошенькая певичка, не бог весть какая умная, и отец даже не помогал ей получать выгодные концерты или контракты. Для этого он был слишком воспитанным человеком. Мне все это казалось ужасно нелепым, а Лео очень огорчился. Это разрушало его идеалы. Моя мать не нашла других слов для определения его состояния, кроме: «Лэ переживает кризис». И когда он написал сочинение на «пять» – низшая отметка, – то мама хотела потащить его к психоаналитику. Мне удалось этому помешать: во#первых, я толком разъяснил Лео все, что знал сам об отношениях мужчины и женщины, а во#вторых, я так усердно помогал ему готовить уроки, что он скоро опять стал получать «два» и «три», и мама уже считала, что вести его к психоаналитику не обязательно.

Мари надела зеленое платье, и хотя она никак не могла застегнуть молнию, я не встал и не помог ей – до того было приятно смотреть, как она закидывает руки за спину, видеть ее белую кожу, темные волосы, темно-зеленое платье; я радовался, что она совсем не нервничает, но в конце концов она подошла к кровати, и я поднялся и застегнул ей молнию. Я спросил, почему она встает в такую рань, и она сказала, что отец засыпает только под утро и до девяти будет спать, а ей надо принять газеты, открыть лавку, потому что школьники иногда приходят еще до мессы за тетрадями, за карандашами и карамельками.

– А кроме того, – сказала она, – лучше, если ты уйдешь до половины восьмого. Сейчас я сварю кофе, а ты минут через пять тихонько спустишься в кухню.

Я почти что почувствовал себя женатым, когда спустился в кухню и Мари налила мне кофе, намазала бутерброд. Она покачала головой:

– Немытый, нечесанный, неужели ты всегда выходишь завтракать в таком виде?

И я сказал:

– Да, в интернате им тоже никак не удавалось воспитать во мне привычку мыться рано утром.

– Но что же ты делаешь? – спросила она. – Как-то ведь надо наводить чистоту.

– Обтираюсь одеколоном, – сказал я.

– Но это ужасно дорого, – сказала она и сразу покраснела.

– Да, – сказал я, – но мне одеколон всегда дарит дядя, огромную бутылку, он главный представитель этой фирмы.

От смущения я стал разглядывать кухню, так хорошо мне знакомую: она была маленькая и темная, вроде кладовушки при лавке; в углу – небольшая плита, где Мари оставляла

на ночь тлеющие брикеты, как делают все домашние хозяйки: вечером заворачивала в мокрую газету, утром раздувала тлеющий огонь и разжигала печь дровами и свежим брикетом. Ненавижу запах брикетной золы, который стоит по утрам на улицах и в то утро стоял в тесной кухоньке. Было так тесно, что каждый раз, как надо было снять кофейник с плиты, Мари приходилось вставать и отодвигать свой стул, и, наверно, то же самое приходилось делать ее бабушке и ее матери. В это утро знакомая кухонька впервые показалась мне будничной. Может быть, я впервые почувствовал, что значат будни: делать то, что нужно, даже если неохота. Мне совсем не хотелось уходить из этого тесного домика и там, за его пределами, выполнять свой долг, а долг мой был – сознаться в том, что мы сделали с Мари, перед Лео, перед девочками, да и мои родители, наверно, тоже как-нибудь об этом услышат. Больше всего мне хотелось бы остаться тут навеки и до конца жизни продавать карамельки и тетрадки ребятишкам, а вечером ложиться наверху в постель с Мари и спать с ней рядом, именно спать рядом, как мы спали в предутренние часы, когда я согревал ее руки у себя под мышкой. Мне она показалась пугающей и чудесной – эта будничная жизнь, с кофейником и бутербродами, с вылинявшим голубовато-белым фартуком Мари на темно-зеленом платье, и мне казалось, что только женщинам будни привычны, как их собственное тело. Я гордился тем, что Мари – моя жена, и чувствовал, что я еще не такой взрослый, каким теперь придется быть перед всеми. Я встал, обошел стол, обнял Мари.

– Я никогда не забуду, – сказала она, – как ты грел мои руки под мышкой. Но тебе надо идти, уже половина восьмого, сейчас начнут приходить ребята.

Я помог ей принести пачки газет и распаковать их. Напротив как раз приехал с рынка Шмиц на своем грузовичке, и я отскочил в глубь парадного, чтобы он меня не увидел, но он меня все равно увидел. У соседей зорче глаз, чем у самого черта. Я стоял в лавке, смотрел на свежие газеты – обычно мужчины накидываются на них как сумасшедшие. А меня газеты интересуют только по вечерам или когда я лежу в ванне, а в ванне самые серьезные газеты кажутся мне такими же глупыми, как вечерние выпуски. В это утро заголовок гласил: «Штраус – со всеми вытекающими отсюда последствиями». Все-таки, наверно, лучше было бы поручить передовицы и заголовки кибернетическим машинам. Есть границы, за которыми слабоумие уже должно быть запрещено. Задрезжал звонок в лавке, вошла девчушка лет восьми-девяти, краснощекая, чисто вымытая, с молитвенником под мышкой.

– Дайте подушечек, – сказала она, – на десять пфеннигов.

Я не знал, сколько подушечек надо дать на десять пфеннигов, открыл банку, отсчитал двадцать штук и впервые устыдился своих не очень чистых ногтей – через толстое стекло банки они казались огромными. Девчушка смотрела на меня с изумлением, когда я положил в пакетик двадцать подушечек, но я сказал:

– Все в порядке, можешь идти, – и, взяв ее монетку с прилавка, бросил в кассу.

Мари вернулась в лавку и расхохоталась, когда я ей гордо показал монетку.

– А теперь пора идти, – сказала она.

– А почему, собственно говоря? – спросил я. – Разве мне нельзя дождаться, пока спустится твой отец?

– Нет, ты возвращайся к девяти, когда он спустится вниз, – сказала она. – Иди же, ты должен все рассказать своему брату Лео, пока он от других не узнал.

– Да, – сказал я, – ты права, а ты, – и я опять покраснел, – разве тебе не надо в школу?

– Сегодня я не пойду, – сказала она, – и вообще больше туда не пойду. Возвращайся поскорее!

Мне было ужасно трудно расставаться с ней, она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях, так что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен.

Я ушел не оглядываясь. Мне было холодно, я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по Францисканерштрассе и за углом Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачав головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурочок в карман и прошел в середину. Я смотрел на Кобленцерштрассе и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возмутило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего «Штрауса – со всеми вытекающими последствиями», сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал: «Невероятно!» Женщина, сидевшая за ним, – я чуть не упал, споткнувшись о мешок с брюквой, стоявший около нее, – кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой, беззвучно шевеля губами.

А ведь я специально причесался гребенкой Мари перед ее зеркалом, на мне была чистая серая совершенно обыкновенная куртка, и борода у меня росла вовсе не так сильно, чтобы один день без бритвы мог придать мне «невероятный» вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом, нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в «особые приметы», в этой графе у меня стоит: «Особых примет нет». Я был не грязный, не пьяный, и все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках, он только в последний раз безнадежно покачал головой и, снова водворив очки на место, занялся штрафсовскими последствиями, а женщина беззвучно бранилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы.

Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи, иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея, но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. Эта немая враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберталлее, прежде чем свернуть к Рейну.

В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснела свежеукатанная теннисная площадка, с Рейна доносились гудки барж, и, войдя в прихожую, я услышал, как Анна бранилась вполголоса на кухне. Я разобрал только: «добром не кончится... не кончится добром...» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь:

– Анна, я завтракать не буду! – быстро прошел мимо и остановился в столовой.

Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом, в гостиной, Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер, и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберта. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена – великим, Глюка – неподражаемым, а Баха – грандиозным. Но Бах мне кажется тридцатитомной философией, которая меня приводит в изумление. А Шопен и Шуберт такие земные, такие мне близкие. Я их люблю слушать больше всего.

В парке на берегу Рейна, у самых плакучих ив, кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверно, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию «старых дружков», и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается пятнадцать гигантских автомашин, пятнадцать шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на каменных скамьях, а когда кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки – изображал Аденауэра или Эрхарда (это примитивно до уныния) либо представлял целый номер – «Директор предприятия в вагоне-ресторане». Но как я ни

старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, «надрывали животики», а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверно, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям: «Блестяще! Отменно!» А другие даже изрекали целые фразы: «В малом что-то есть!» Или: «Он еще себя покажет!»

В тот раз, слушая Шопена, я впервые подумал, что надо бы поискать ангажемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда: я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер «Заседание правления».

Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео – очень высокий, светловолосый и в своих очках без оправы – похож не то на суперинтенданта, не то на шведского иезуита. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутюженных складок на брюках, даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком навывпуск – все было как-то некстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же как от претенциозных имен вроде Этельберт, Герентруда, и я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож: тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой, и все, что в Генриетте казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе, скорее он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот.

Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился, растерянно растопырил руки и сказал:

– Ганс, что с тобой?

Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал:

– Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Сыграй эту мазурку еще раз!

– Не могу, – сказал он, – пора в школу, нам на первом уроке дадут темы для выпускного сочинения.

– Я тебя отвезу на маминой машине, – сказал я.

– Не хочу я ездить на этой идиотской машине, – сказал он, – сам знаешь, как я ее ненавижу.

В то время мама только что «безумно дешево» перекупила у приятельницы спортивную машину, а Лео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться «задаванием» с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство: если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей – тут он краснел как рак и пускал в ход кулаки.

– Сделай исключение, – сказал я, – сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был?

Он покраснел, уставился в землю и сказал:

– Нет, не хочу ничего знать.

– Я был у девушки, – сказал я, – у женщины, у моей жены.

– Вот как? – сказал он, не поднимая глаз. – Когда же вы обвенчались?

Он все еще не знал, куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову, но я удержал его за рукав.

– Это Мари Деркум, – сказал я тихо.

Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал:

– Бог мой, не может быть!

Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня.

– Что? – спросил я. – Что ты сказал?

– Что мне теперь придется ехать на машине. Отвезешь меня?

Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами.

– Пойди возьми ключи, – сказал я, – тебе мама выдаст их, да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны, у тебя еще есть деньги?

– В сберкассе, – сказал он. – Можешь сам взять?

– Не знаю, – сказал я, – нет, лучше перешли мне.

– Куда? – сказал он. – Разве ты уезжаешь?

– Да, – сказал я.

Он кивнул и поднялся наверх.

Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием.

– А я решила, что ты не желаешь завтракать, – сердито сказала она.

– Нет, завтракать я не буду, – сказал я, – только кофе.

Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе.

По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой, нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас на кухне была только Анна. Норетта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалеты и косметику. Наверно, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, на лице у нее маска из плацентарных препаратов, а Норетта читает ей вслух газету. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гёте и Лютера и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями, а может быть, Норетта читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов, там все распределено по разделам: «Пищеварение», «Сердце», «Нервы», и как только ей удастся заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких «новшествах» – экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь образчики, она на седьмом небе от счастья.

По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже пятнадцать лет, мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажется ей чудовищным, почти что противоестественным. Наверно, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей воплощением самого дьявола. Но к Рейнской области она уже стала понемногу привыкать. Она высокая, стройная и гордится тем, что у нее «походка как у дамы». Ее отец служил каптенармусом в каком-то месте, про которое я знаю только то, что оно называлось «П. П. 9»<sup>3</sup>. Бесполезно объяснять Анне, что у нас тут не «П. П. 9» – во всем, что касается воспитания молодежи, она неизменно держится правила: «В «П. П. 9» такого не допускали». До сих пор я не разобрался, что же за таинственное воспитательное заведение это самое «П. П. 9», но твердо уверен, что туда меня не взяли бы даже чистить уборные. Особенно часто Анна взывает к «П. П. 9», когда я не умываюсь, а «эта ужасная привычка без конца валяться по утрам в постели» возбуждала в ней такое отвращение, словно я заразился проказой. Наконец она обернулась и подошла с кофейником к столу, но глаза у нее были опущены, точно у монашки, прислуживающей епископу с сомнительной репутацией. Мне было ее жалко, как девчонок из группы

---

<sup>3</sup> Девятый пехотный полк.

Мари. Монашеское чутье Анны наверняка подсказывало ей, откуда я пришел, а вот моя мать никогда ничего не заметила бы, даже если бы я три года жил в тайном браке с какой-нибудь женщиной. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе, крепко схватил ее за руку и заставил посмотреть мне в глаза: она подняла свои выцветшие голубые глаза с дрожащими веками, и я увидел, что она и в самом деле плачет.

– Фу-ты, черт, – сказал я, – да посмотри же мне в глаза, Анна. Наверно, даже в твоём «П. П. 9» люди имели мужество смотреть друг другу прямо в глаза.

– А я не мужчина, – проскулила она, и я выпустил ее руку.

Она повернулась лицом к плите, что-то пробормотала про грех и позор, Содом и Гоморру, и я сказал:

– Что ты, Анна, Бог с тобой, ты только вспомни, что они там вытворяли, в Содоме и Гоморре.

Она стряхнула мою руку с плеча, и я вышел из кухни, не сказав ей, что хочу уехать из дому. Только с ней одной я еще иногда говорил о Генриетте.

Лео уже стоял у гаража и тревожно смотрел на ручные часы.

– А мама заметила, что меня не было дома? – спросил я.

Он сказал «нет», отдал мне ключи и отворил ворота. Я сел в мамину машину, вывел ее и подождал, пока сядет Лео. Он напряженно разглядывал свои ногти.

– Я взял сберкнижку, – сказал он, – в переменку пойду за деньгами. Куда их тебе послать?

– Пошли старику Деркуму, – сказал я.

– Поезжай, пожалуйста, – сказал он, – мне давно пора.

Я быстро проехал через сад, по выездной аллее, и мне пришлось задержаться на улице, у той самой остановки, с которой Генриетта уезжала в армию. Несколько девочек, Генриеттиных сверстниц, садились в трамвай: когда мы обогнали трамвай, я увидел еще много девочек Генриеттиных лет – они смеялись, как смеялась она, и на них тоже были синие шляпки и пальто с меховыми воротничками. Если начнется война, их родители отправят их из дому точно так же, как мои родители отправили Генриетту: сунут им немножко карманных денег, несколько бутербродов, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом!» Очень хотелось подмигнуть этим девчонкам, но я удержался. Люди все понимают не так. Когда едешь в такой идиотской машине, даже девчонке подмигнуть нельзя.

Однажды я дал мальчику в Дворцовом парке полплитки шоколада и отвел ладонью его светлые волосы с грязного лба: он ревел, размазывая слезы по всему лицу, и я только хотел его утешить. Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию, и после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла: «Ах ты, грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было омерзительно – мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения.

Проезжая на большой скорости по Кобленцерштрассе, я все время высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминой машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину, но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео:

– Ну как, ты и вправду решил поступать на военную службу?

Он покраснел и кивнул.

– Мы все обсудили, – сказал он, – и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии.

– Ну что ж, – сказал я, – иди, пусть у них одним идиотом будет больше, я сам иногда жалею, что не годен к военной службе.

Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел.

– Почему? – спросил он.

– Да так, – сказал я, – очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винекен. Наверно, он теперь полковник или генерал. – Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой.

– Нет, остановись с той стороны, справа от семинарии.

И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео, но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо, меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало.

– Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу, – сказал я.

– А почему? – сердито спросил он. – Ну, давай сюда ключ от машины!

Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генриетте, я считал безумием, что Лео хочет идти в солдаты. Я прошел через Дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно, хотелось поскорее вернуться к Мари.

Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят, они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок.

Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари, – просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтоб Мари была тут, со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, подтянул галстук и еще раз проверил ногти – они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал.

Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и так же смущен, вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный, и когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал «спасибо», он все еще на меня не смотрел. Ночью, в комнате Мари, когда я все обдумывал, я почувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я не осмеливался взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы. Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. Я тихо сказал:

– Господин Деркум, вы имеете право...

Но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал:

– О черт, и зачем это надо было... да еще чтобы все соседи были посвящены? – Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор про честь. – Неужели надо было довести до этого, ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов, а теперь... – Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу. – Теперь – ничего!..

– А где Мари? – спросил я.

– Уехала, – сказал он, – уехала в Кёльн.

– Куда уехала? – крикнул я. – Где она сейчас?

– Тихо! – сказал он. – Узнаешь, все узнаешь. Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак – можешь не трудиться, уходи! Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай!

Я боялся пройти мимо него.

– А ее адрес? – спросил я.

– Вот, – сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман. – Ну, чего тебе еще? – закричал он. – Чего тебе надо? Что ты тут торчишь?

– Мне деньги нужны, – сказал я и обрадовался, когда он вдруг засмеялся, хотя смех был странный, сердитый и резкий, один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце.

– Деньги! – сказал он. – Хорошие шутки! Ну, иди сюда!

И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь: по десять пфеннигов, по пять, по пфеннигу, он сыпал монеты на тетрадки, на газеты, я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, хотел было ссыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать, и когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели.

– Прости, – сказал он тихо, – о, черт побери, прости меня!

Он думал, я обиделся, но я так хорошо его понимал. Я сказал:

– Подарите мне еще пачку сигарет.

И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него.

## VIII

Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мари одевается, как она завинчивает крышку на тюбике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить, хотя бы на уровне двадцати – тридцати марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично – смотреть или не смотреть, как Мари завинчивает крышечку от пасты: по моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж за Цюпфнера, а услышать, как голос Мари отвечает: «Квартира Цюпфнера», – нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «Духовные семинарии», ничего не нашел, хотя и знал, что есть две такие лавочки – Леонинум и Альбертинум. Наконец я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили, и у барышни, ответившей мне, был даже рейнский выговор. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля на боннскую телефонную станцию, чтобы услышать этот абсолютно невоинственный, мирный говорок, где не слышно звука «р» – именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина.

Я только раз пять услышал: «Прошу подождать», потом девушка ответила, и я спросил у нее про «эти самые штуки», где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на «Духовные семинарии» и ничего не нашел; она засмеялась и сказала, что «эти самые штуки» – она очень мило подчеркнула кавычки – называются конвикты, и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эмондсу.

Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование – бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна – климат для пенсионеров: тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу – это

какая-то защитная колючесть: у нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами – мамаша у меня любит устраивать приемы, – и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой самозащиты. Они все с такой вымученной иронией подсмеиваются над Бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Добрая старая тетушка может тебе преподавать, как вязать пуловеры, вышивать салфетки или сервировать херес, но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители святой церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в Комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку шлюх в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох: узкие улочки, лавчонки букинистов, студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе.

Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон – взглянуть на мой родной город. Красивый город – собор, кровли бывшего дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок, Дворцовый парк. Судьба Бонна в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал боннский воздух, он действовал на меня удивительно благотворно: при перемене климата боннский воздух за несколько часов творит чудеса.

Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер «той самой штуки», где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью, в официальном стиле. «Дорогой брат, – писал он, – настоящим извещаю тебя, что по зрелом размышлении я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас, безусловно, найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни. Любящий тебя брат Лео». Весь Лео был в этом письме, в судорожной попытке по-старомодному начинать письмо, не с местоимения: «Я тебя хочу извести», а «настоящим извещаю». Тут и следа не было того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние. Если он и дальше так пойдет, то непременно когда-нибудь станет благородным седовласым прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны: обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле.

Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолит подойти к телефону, и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул: «Вот сволочи!» В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.